

КОСТЯНАЯ СВЕЧА



АНХЕЛЬ РЕЙ САНТАНА

Анхель Сантана

Костяная свеча

<https://litres.ru/74614969>

SelfPub; 2026

Аннотация

Коста-да-Морте, 1887 год. Ирию Мариньо в рыбацкой Корвейре зовут «та, что слушает»: она опускает руки в море и говорит с утопленниками. Море отвечает ей сотней голосов, но голоса её матери, утонувшей летом в ночь Сан-Шоана, среди них нет.

В ночь Самайна Ирия нарушает главный бабушкин запрет. Она берёт свечу из рук мертвеца в Санта Компанье, процессии неприкаянных душ. Ведёт процессию живой человек: Брейшо, студент-медик из разорённой усадьбы, который не верит в мейг и записывает в тетрадь собственное угасание. Тому, кто несёт крест, отпущен год и день.

Ирия предлагает сделку: она говорит с мёртвыми за него, а он позволяет ей искать среди них мать. Каждое обещание, исполненное за мёртвых, облегчает крест. Но обещаний сто двадцать семь, кто-то в деревне очень боится, что крест к нему вернётся, а Брейшо знает о ночи на пляже больше, чем говорит.

Готическая сказка о побережье, где мёртвые помнят каждое обещание, а море всегда ведёт счёт.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Анхель Рэй Сантана

Костяная свеча

Глава

КОСТЯНАЯ СВЕЧА

Роман о Санта Компанье

АНХЕЛЬ РЕЙ САНТАНА

Костяная свеча

© 2026 Анхель Рей Сантана. Все права защищены.

Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Это художественное произведение. Персонажи, приход Корвейра и описанные события вымышлены. Галисийские поверья и обычаи, на которых основан роман, описаны в примечании в конце книги.

Я в мейг не верю, но они есть.

Галисийская поговорка

В Сан-Андрес-де-Тейшидо мёртвым пойдёт, кто живым не ходил.

Галисийская поговорка

Часть первая

Свеча

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Та, что слушает

Утопленники никогда не помнят, как умерли. Это первое, что узнаёшь, когда начинаешь их слушать, и первое, что приходится объяснять вдовам, потому что все они, без единого исключения, хотят знать одно и то же.

— Спроси, мучился ли он, — сказала мне в то утро Карме да Понте, стиснув под подбородком чёрную шаль и стоя босыми ногами на холодном песке.

— Он не помнит, Карме. Никто из них не помнит.

— Всё равно спроси.

Был последний день октября 1887 года, и светало поздно. Небо над Корвейрой было цвета мокрой золы, а отлив уходил с Фурнас, обнажая чёрные камни, блюдечки и лужи, в которых летом дети ловят креветок. Осенью дети туда не спускались. Осенью на Фурнас спускалась только я да тот, кто мне платил.

Карме заплатила мне ковригой ржаного хлеба, шестью яйцами в тряпице и двумя реалами. Для вдовы, овдовевшей три месяца назад, это было много. Я сложила всё на сухой камень, закатала рукава до локтей и встала на колени там, где разбивается маленькая волна, та, что доходит до берега уставшей и рассыпается пеной.

Октябрьская вода кусается. Это знает любой, кто родился на Коста-да-Морте. Я опустила руки в воду по запястья и стала ждать, когда укус превратится в покалывание, а пока-

лывание в шум.

Сначала всегда шум. Далёкая волынка, ярмарка, если посмотреть на неё с горы, гул в церкви, пока не вышел священник. Потом, если хватит терпения и море в духе, шум распадается на голоса. Есть голоса старые, как гранит, они говорят на таком галисийском, на каком уже никто не говорит, и есть новые, которые всё ещё зовут своих матерей. Есть моряки из Мушии и Камариньяса, англичане с железных кораблей, разбившихся о мыс Вилан, португалец, который поёт, две монахини, о которых я так и не узнала, как они оказались в воде. Есть дети. Дети есть всегда.

— Мануэль Пасос, — сказала я вслух. — Из дома да Понте, из Корвейры. Море забрало его в июле, вместе с «Эсперансой».

Шум расступился, как расступается толпа в процессии, чтобы пропустить святого. И тогда совсем близко, у самых моих запястий, кто-то засмеялся.

— Глянь-ка, кто пришёл. Внучка Дорес, в такую рань и такая серьёзная.

— Доброе утро, Шурхо.

— Доброе оно у тебя, у тебя хлеб есть. — Голос Шурхо всегда звучал так, будто у него рот набит чем-то вкусным. — Кого ищешь? Того, с «Эсперансы»? Он сейчас на дне у Лобейрас с двумя другими, в карты режется с англичанином, который не умеет проигрывать.

— Приведи его, будь другом.

— А что дашь?

— Расскажу, кто женится на Сан-Мартиньо.

Шурхо утонул в 1846 году, в бурю на святого Андрея, и уже сорок один год ему нечем было заняться, кроме как слушать. Он был главным сплетником на всём побережье, считая и живых, и мёртвых. За одно имя и дату свадьбы он привёл бы мне кого угодно хоть из-под самой Финистерры.

— Идёт, — сказал он, и голос его убежал, если голос вообще может бегать.

Карме смотрела на меня со спины. Она, конечно, ничего не слышала. Она видела двадцатидвухлетнюю женщину, которая стоит на коленях в воде и разговаривает сама с собой, с напех собранными чёрными волосами и в юбке, промокшей до колен. В деревне меня звали «та, что слушает», и некоторые, говоря так, крестились. Но когда море кого-нибудь у них отнимало, они приходили. Все приходили. Священник говорил, что так нельзя, а потом присылал мне записку, чтобы я спросила про его племянника, того, со шхуны из Коркубиона.

— Ирия? — Это был мужской голос, хриплый, робкий. — Ты дочка Сабелы?

— Я Ирия Мариньо, да. А вы Мануэль Пасос?

— Был.

Так поначалу отвечают все. Утопленники не чувствуют себя мёртвыми, они чувствуют себя переехавшими, будто сменили приход.

— Ваша жена здесь, Мануэль. Она хочет кое о чём вас спросить.

В воде стало тихо. За моей спиной Карме шагнула вперёд.

— Карме здорова?

— Здорова. Она здесь. — Я слегка обернулась. — Спрашивайте, Карме. По одному вопросу за раз, и ясно, они не понимают околичностей.

Карме сглотнула. У неё дёрнулось всё горло.

— Деньги. Деньги за проданную корову.

— Она спрашивает, где деньги за корову, — повторила я воде.

— В сапоге, — тут же ответил Мануэль. — В старом сапоге, в левом, под *оррео*, завёрнуты в клетчатую рубаху. Пусть рубаху не выбрасывает, это рубаха моего отца.

Я передала это Карме и увидела, как у неё опустились плечи. Два месяца она искала эти деньги. Поднимала доски пола, вытряхнула сундук с приданым, дошла до того, что решила, будто покойник прогулял их в таверне в Мушии с какой-нибудь бабёнкой. У неё было трое детей.

— А теперь спроси, — сказала она, и голос ей не повиновался. — Спроси, простил ли он меня.

Вот оно. Всегда есть вопрос, который задают не для того, чтобы что-то найти.

— Жена спрашивает, простили ли вы её.

— За что простить?

Я повторила. Карме закрыла глаза.

— За то, что накануне, как ему уходить в море. Что я сказала: хоть бы тебя море забрало.

Это я уже никому не переводила, потому что Мануэль слышал всё сквозь меня, как бывает иногда, когда горе очень большое, и молчал так долго, что я решила, будто он ушёл.

— Скажи ей, что это все так говорят, — ответил он наконец. — Что я один раз сказал так своей матери, а мать прожила восемьдесят лет. Что море такого не слушает, у него своих забот хватает.

Я передала. Карме закрыла лицо шалью и заплакала так, как я хорошо знала: так плачут, когда отпускают то, что три месяца держали стиснутым в груди. Я дала ей поплакать. Руки у меня в воде побелели и уже начинали становиться чужими.

Прежде чем вынуть их, я сделала то, что делала каждое утро. Понижила голос, чтобы Карме не слышала.

— Сабела Мариньо с вами?

Море ответило, как отвечало с самого лета, сотней голосов разом, вежливых, печальных, одинаковых:

— Нет.

А потом, под этим «нет», пустота.

Иначе объяснить не могу. Когда я слушаю, море похоже на ткань из множества нитей, и каждая нить кто-то. С июня в этой ткани была дыра. Место, где должен быть голос, а его нет. Я чувствовала её, как язык чувствует лунку от вырван-

ного зуба: нечаянно и всё время. Моя мать утонула в ночь Сан-Шоана, на пляже Ареа-Бранка, в двухстах шагах от нашего дома, и её голоса в море не было.

Сначала я думала, что она просто запаздывает. Бывают мёртвые, которые долго не начинают говорить, как бывают дети, которые долго не начинают ходить. Прошёл июль. Прошёл август, с праздниками, сардинами и людьми, твердившими, что мне надо есть. В сентябре я спросила Шурхо, который знает всё, и Шурхо сказал, что нет, Сабела не приходила, он бы её узнал, потому что в девушках Сабела купалась голышом на Фурнас, а память у него хорошая. В октябре я перестала ждать, что она придёт, и начала думать, куда она делась.

— Иди домой, Сабелинья, — сказал Шурхо, который вернулся, а я и не заметила. — Простудишься.

— Ирия.

— Чего?

— Я Ирия, Шурхо. Сабела была моя мать.

— Ирия, Ирия. — В воде что-то щёлкнуло, будто язык. — Вечно я вас, Мариньо, путаю. У вас у всех один голос. Ну, так кто женится на Сан-Мартиньо?

— Пилар до Крусейро, за младшего сына того, у которого лодки в Лиресе.

— Да ну! За косого?

— За косого.

Шурхо радостно умчался рассказывать это всему морско-

му дну, а я вынула руки из воды.

* * *

С Фурнас я поднималась с ковригой под мышкой и яйцами в переднике. Карме ушла раньше, почти бегом, выкапывать сапог. Дорога от пляжа к нашему дому идёт по *корредойре*, глубокой тропе между двумя каменными стенами, такой узкой, что воловья повозка занимает её от края до края, и такой старой, что земля протёрта в две колеи, как книга, которую всегда открывают на одной и той же странице. Осенью она наполняется водой и каштановыми листьями. Мать говорила, что по корредойрам ходят мёртвые, потому что это единственные дороги, которые они узнают; все остальные живые проложили потом.

Наш дом в Корвейре последний со стороны моря. Он каменный, с крышей из сланца и единственной трубой, а перед ним стоит маленький *оррео*, амбар на каменных ножках, который построил мой дед, и смоковница, которая не даёт смокв. Дверь смотрит на юг, на дорогу. А на пороге, с ночи Сан-Шоана, лежал пёс.

Он был чёрный. По-настоящему чёрный, не так, как бывают чёрными собаки, у которых вблизи видны бурые и рыжеватые волоски. Этот был чёрный, как дно колодца, и большой, как годовалый телёнок, а на лбу, между ушами, у него были две твёрдые шишки, которые в темноте походили на рога. Он появился наутро после того, как утонула мать. Весь мокрый, с песком на морде, и с тех пор не сдвигался с места,

разве что чтобы пропустить меня.

В деревне его звали Урко. Так в здешних сказаниях зовут чёрного пса, который выходит из моря и воет у дверей того, кому суждено умереть. Пилар до Крусейро, та, что выходила за косого, перестала приходить ко мне за травами, как только его увидела. Дети издали кидали в пса камнями, а пёс не двигался, и иногда камни сами летели обратно к детям, хотя никто их не бросал. Моей славе это тоже не помогало.

Я не знала, что это за пёс. Знала, что он никогда не воет. Что ест то, что я ему даю, больше всего рыбу, и пьёт морскую воду из луж на Фурнас, а не пресную. Что за четыре месяца он ни разу не вошёл в дом, хотя я оставляла дверь открытой. И что за четыре месяца я так и не умерла, что в деревне уже начинали считать своего рода невежливостью.

— Привет, Урко.

Он посмотрел на меня глазами цвета колодезной воды и отодвинулся на полпяди. Я оставила ему яйцо на камне и вошла.

Внутри пахло остывшим дымом, лавром и солью. Огонь я оставила присыпанным золой и теперь раздула его, поставила греть воду, сменила мокрую юбку. На столе лежали мамины вещи там, где она их оставила: каменная ступка, пучок сухой руты, жестяная коробка с иголками, чётки, по которым она никогда не молилась и которые всегда носила с собой. На стуле напротив, её стуле, никто не сидел. Иногда я с ним разговаривала. Такая привычка заводится у тех, кто живёт

одна, и они о ней не рассказывают.

— Карме нашла деньги, — сказала я стулу. — Они были в сапоге. Мануэль говорит, что не прощает её, потому что прощать не за что.

Стул ничего не ответил, по своему обыкновению.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.